

## Предисловие

«С появления двух евреев – они были врачи – началась в 1540 году жизнь этой общины [еврейской общины в Кенигсберге], и эвакуацией в апреле 1948 года двух евреев ее 408-летняя история завершилась, по-видимому, навсегда».

Человек, напомнивший нам об этом событии, автор настоящей книги, и был одним из тех двух последних уцелевших. Он выжил чудом. Получив «клеймо» в годы массового психоза, подвергаясь каждодневным унижениям и преследованиям по «законам», оправдывавшим преступления, он пережил и войну, и послевоенное лихолетье. Кажется, испытывавшему такое положено исполнить старый завет: идти и свидетельствовать об увиденном и услышанном. Ибо наш долг перед теми, кто умолк навеки, сделать все, чтоб о них не забыли.

С детства принужденный носить желтую звезду, Михаэль Вик на собственном опыте узнает, насколько различными могут стать судьбы представителей одного рода в эпоху торжества расового безумия. Лишенный всех прав, он числит среди своих родственников не только будущих жертв Освенцима и Терезиенштадта, но и офицеров вермахта и даже даму, которую приглашали на банкеты к Гитлеру. Конstellляции трагические и возможные только в эти годы.

С остротой рано осознавшего опасность мальчик реагирует на окружающий мир. Он любит свой город; он безмерно счастлив, проводя каникулы на земландском побережье; многое значит для него и школьная дружба,

– но внезапно, словно укол в самое сердце, возникает понимание, что в глазах однокашников он – другой, чужак, который никогда не станет их товарищем. Яд государственной пропаганды начинает действовать. Мальчика подвергают издевательствам и унижениям, он испытывает на себе разнообразные проявления официально поощряемой враждебности. Поначалу беспомощный, он со временем находит себе опору – в музыке. Хранимый верою в Бога, он открывает для себя чудесный мир искусства, дарующий силы и надеждающий самообладанием в экстремальных жизненных ситуациях.

И он не бежит мира. Каких бы потрясений ни готовила ему реальность, он зряч ко всему, что обрушивается на людей обезумевшая власть: от бытовых трудностей до депортации и убийств, поставленных на промышленную основу. В начале войны, после ужесточения законов о евреях, он с полной ясностью ощущает, что отпущенное ему время имеет предел. Выказанные им за этот «срок» сила духа и готовность к новым испытаниям, изумительные сами по себе, еще и подтверждают истину о том, что ожидание близкой смерти не парализует воли к жизни.

Все было испытано мальчиком со звездой – и принудительный труд, и голод, и страх за близких, и бюрократический абсурд: так, однажды он получил повестку для явки на сборный пункт призывников. Наблюдая, как членов его религиозной общины одного за другим забирают и уводят на смерть, он осторожно, наугад разрабатывает стратегию выживания. И чем дольше тянется война, чем очевиднее самоубийственный финал немецких побед, тем сильнее его надежда пережить мрачное время. Однако полностью сбыться этой надежде не было суждено: бомбардировки Кенигсберга британской авиацией, неделями длившаяся

осада города советскими войсками и не в последнюю очередь встречи с победителями – все это отнюдь не сделало жизнь безопасной. А по окончании войны Вик столкнется еще и с равнодушным отношением к перенесенным им страданиям.

Там, где жизнь целиком сводится к удовлетворению потребностей в пище и тепле, где единственное, что заботит на холодном ветру среди развалин, это как дотянуть до следующего дня, там все зависит от проворства, хитрости и просто грубой силы. И подросток, который избежал самого страшного и которому утешением и убежищем по-прежнему служит музыка, вдруг открывает в себе способности, удивляющие его самого. Из стратега он превращается в практика выживания, ловко и бесстрашно забирающего у победителей то, что ему необходимо для удовлетворения самых насущных потребностей. Не приходится удивляться, что однажды, в особенно трудную минуту, он поклялся быть до конца своих дней «счастливым, благодарным и всем довольным», если ему удастся выжить. Ему удалось, он оказался одним из двух последних евреев, кому позволили покинуть город – предоставили «разрешение на выезд».

Радость по поводу этого разрешения, надежды на будущее, брак, перипетии профессиональной и личной жизни – все это автор описывает в кратком приложении, или, точнее, в заключительной части, которая выглядит приложением. Главный его жизненный опыт остается связан с Кенигсбергом. Здесь он обрел себя, прошел огонь и воду. Здесь ему удалось одержать победу над собой.

Михаэль Вик – опытный рассказчик. В его изложении эпизоды прошлого служат контрастным фоном друг другу. Так, он подчеркивает совпадение по времени своей бар-мицвы и поручения, которое Геринг

дал Гейдриху: подготовить «реалистичное и конкретное окончательное решение еврейского вопроса». Или дает нам почувствовать будущую трагедию, повествуя о том, как он, мальчик с желтой звездой, внимал явившемуся в гости родственнику в офицерском мундире со знаками отличия. На примере своей жизни автор описывает следствия антисемитизма и приходит к потрясающим выводам, расспрашивая о его истоках тех, кто научился искусству обманывать свою память. Мемуары написаны в прошедшем времени, однако при изображении особенно важного для себя эпизода автор всякий раз использует настоящее время, словно хочет сообщить этому событию длительность или дать понять, что оно для него все еще актуально.

Мнения, которые Вик высказывает о власти предрешающих и их приспешниках, о жертвах и победителях, обнаруживают впечатляющее чувство справедливости. Давая свою оценку происходящему, автор ни на миг не забывает о том, что исторические процессы подчинены закону причинности, и поэтому, например, дрожа в подвале разрушенного города, он спрашивает себя, не являются ли снаряды и бомбы, несущие смерть Кенигсбергу, ответом на преступления, совершенные немецкими захватчиками в Ленинграде и в сотнях других советских городов. Он не устает задавать вопросы – то с ужасом, то хладнокровно, и вновь и вновь приходит к убеждению, что надежду на завтра способны обеспечить лишь разум и терпимость. Призывом к ним и является эта потрясающая книга.

Зигфрид Ленц

## Пролог

Обоих своих дедушек я не застал в живых, а случайно обнаруженная биография Арнольда Хулиша, маминого отца, заняла лишь одну машинописную страничку. С нескрываемой гордостью дедушка рассказывает о своих предках из старинной династии раввинов, а также о своей учебе на инженера и начале трудовой деятельности на строительстве железной дороги. И чего только он не числит среди главных своих жизненных успехов! «... Позволю себе добавить, – пишет дедушка, – что в 1864 году я стал первым и надолго единственным евреем в списке студентов-строителей и мне еще пришлось подписать предназначенный для евреев злополучный «реверс Симона», который, правда, после аннексии Ганновера из моего досье исчез. Соответственно, и в Пруссии я стал первым евреем-строителем, работавшим по правительственным заказам. Чтобы не навлекать на себя традиционных антисемитских подозрений, я считал своим долгом отказываться – может быть, в большей степени, чем это было необходимо и разумно – ото всех выгодных предложений. Бесспорно, однако, что моя твердость в вере и особенно антисемитизм 80–90-х годов сильно повредили мне во всех отношениях». Скоро звучат ноты усталости, и история близится к концу: «... из шести наших детей в живых остались лишь трое упомянутых в завещании дочерей. В 1890 году наш брак по (кажется, ненужному) ходатайству жены был ввиду, якобы, непреодолимой антипатии расторгнут в судебном порядке. Позже я развелся

и по еврейским законам. Весной 1897 года, по причине серьезного упадка сил, я вышел в законную отставку и с того времени смог посвятить себя заботам о здоровье и о детях...». («Отказ от выгодных предложений» означал отказ от причитающегося вознаграждения, а словосочетание «непреодолимая антипатия» было одной из общепринятых бракоразводных формулировок.)

Бедный дедушка! В возрасте пятидесяти двух лет силы его иссякли, дух был сломлен и брак распался. Бабушку Дженни, его жену, я еще застал. Она умерла, когда мне было шесть. Я хорошо помню, сколь влиятельной могла быть эта тихая женщина.

Мама, голубоглазая блондинка, была невысокого роста, но ее движения производили впечатление размашистых. Наделенная большим умом, она, однако, отдавала предпочтение чувствам. Ими были исполнены ее речь, музицирование, манеры. Она была идеалисткой, скромной и непрактичной; музыка значила для нее все, а домашнее хозяйство ее почти не интересовало; порой нетребовательная до аскетизма, она бывала, однако, и довольно капризной. Обстоятельства тесно связали нас друг с другом.

Совсем другими были дедушка и бабушка Вики. Уверенные в себе, зажиточные, всеми уважаемые. Дедушка Вик тоже был инженером и по случайному совпадению работал на строительстве железной дороги в Румынии в то же самое время, что и дедушка Хулиш. Возможно, они даже знали друг друга. Позже он управлял делами и был главою муниципалитета берлинского района Грюневальд, и там одно время имелась названная в его честь улица. Ныне на ее месте разбит парк. Рядом с ним бабушка Вик оставалась в тени. Она была шведкой, урожденной Пальме, двоюродной бабушкой Улофа Пальме, лидера шведских социал-демократов, убитого в 1986 году.

Мой отец в свои лучшие годы походил на мужчин, которых любил писать Мане. Он был хорошо сложен, темноволос, носил бороду, всегда следил за собой и безукоризненно одевался. Кажется, ему нравилось изображать джентльмена – с умом и запросами. Он часто рассказывал о родительском доме, где бывали Брамс и Клара Вик-Шуман (наша дальняя родня) и где Йозеф Иоахим устраивал репетиции своего струнного квартета. Старшие Вики жили в просторном доме на Герта-штрассе 4, а неподалеку находился особняк Мендельсонов, в котором тоже останавливались и выступали музыканты.

Оба этих дома, по рассказам отца, были чуть ли не средоточием музыкальной жизни Берлина. Запомнились отцу, а он был 1880 года рождения, и художники Макс Либерман и Адольф фон Менцель. Когда он воскрешал в своих рассказах прошлое, все казалось замечательным и прекрасным, важным и исполненным значения. Люди его поколения еще не умели рассказывать о теневых сторонах жизни, о человеческих слабостях и поражениях, и эта ничем, кажется, не омраченная гордость и на меня повлияла благотворно. Мои таланты и способности вообще не ставились под сомнение, ведь тот, кто происходил из такой семьи, имел, само собою разумеется, высокое предназначение, возможность неудач попросту исключалась. Это крайне полезное и стимулирующее заблуждение было совсем неплохим наследством – и не только для будущей карьеры музыканта.

К счастью, мемуары моего деда Бернхарда Вика о франко-прусской войне попались мне на глаза гораздо позже. Ну и удивили же они меня! Предок вмиг утратил свой ореол и предстал предо мною консерватором, националистом и филистером, каковым он, по понятиям того времени, скорее всего, не был. Свои воспоминания

## Концлагерь Ротенштайн

Поиски воды и остатков пищи среди развалин, принудительная работа, необходимость защищаться от холода и произвола – все это требовало колоссального напряжения сил, интеллекта и внимания, и, чем больше интуиции и смекалки человек проявлял, тем лучше. Ведь совсем непросто было сообразить, что в кухонных кладовых даже полностью, включая лестничные пролеты, сгоревших домов могли сохраниться покрытые сажей консервные банки, а в них, помимо угля, имелось съедобное содержимое. Передвигаться по такому зданию с помощью приставной лестницы нужно было осторожно: стены могли обрушиться. Питаться мясом, срезанным с полуразложившегося трупа лошади и испеченным, было выше моих сил, но некоторые находили его питательным. Впрочем, очень скоро начались болезни, и еще до тяжелой эпидемии тифа широко распространилась дизентерия. Но и без нее почти все мучились от поноса, и многих постоянное судорожное опорожнение кишечника лишало последних сил.

Смертельно усталый, я лежал вместе с двумя десятками других на полу какого-то крытого помещения. Было нестерпимо холодно, несмотря на то что оконные проемы были сравнительно плотно закрыты картоном, жестью и холстами картин. Каждую ночь нас по нескольку раз будили русские: они шумно вваливались, каждому светили фонариком в лицо и неизменно искали женщин и девушек, которые, бедняги, были вынуждены подчиняться их воле.



В ту ночь меня, как обычно, ослепили фонариком, а потом неожиданно пнули ногою в бок. Солдат сердито приказал мне немедленно следовать за ним. Я повиновался, накинув поверх одежды драгоценное шерстяное пальто, которое где-то нашел и с тех пор использовал вместо матраса. На улице нас дождалась группа штатских, с которыми мне куда-то предстояло отправиться под строгим конвоем. Члены этой группы прошли регистрацию, но один сбежал, и, чтобы число подконвойных соответствовало списку, конвоиры взяли меня. Теперь цифры сходились, но имена нет, что мне еще осложнит жизнь. Остаток ночи мы провели в русской комендатуре, откуда бежать было невозможно и где я пытался заснуть на столе. Наутро нас повели через Маррауненхоф, мимо Верхних прудов, к бывшим казармам Ротенштайн, переоборудованным теперь в концентрационный лагерь. Здесь нас окружали вечные приметы недостойного людей бытия: высокий забор с вышками и колючая проволока. В лагерь отправляли всех подозрительных, чтобы установить, не скрывается ли среди них партийное начальство. У меня уже давно забрали все удостоверения и справки, свидетельствующие о том, что меня как еврея преследовали, а рассказывать об этом я перестал: русские либо вовсе не слыхали о таких вещах, либо ничему не верили. Нелегко было убедить их даже в том, что я не состоял в партии. Как если бы уже мой юный возраст не служил тому ручательством. И еще труднее было доказать, что я не воевал и не вхожу в Вервольф. На все остальное им было наплевать. О евреях и их судьбе они и слышать не желали, это я к тому времени уже сообразил. Цена за принадлежность к немецкому народу между тем сильно поднялась, и мне предстояло ее заплатить сполна. Выбора не было.

Нас выстроили во дворе казармы, и офицер зачитал инструкции. Каждое предложение заканчивалось

словами «за невыполнение – расстрел». Запрещено было все. Вдруг из наших безмолвных рядов выскочил какой-то сумасшедший паренек и, кривляясь и что-то бормоча, направился к офицеру. Тот выхватил пистолет, и бедняга, издав истошный вопль, кинулся прочь, чем спас себе жизнь. Затем нашу группу отвели в какое-то одноэтажное строение вроде сарая. Здесь стояли бочки с дождевой водой; мы бросились к ним и все никак не могли напиться. Раз в день давали поесть, но похлебку наливали только тем, у кого имелась посуда, и только тот, у кого была кастрюля или горшок, мог взять порцию похлебки и для другого. У меня посуды не было, и я не знал никого, кто мог бы взять для меня еду, поэтому во время первой раздачи я так и остался ни с чем. Через некоторое время нашу группу вызвали и отвели в «подвал». То, что это было худшее место в лагере, мы еще не знали. «Подвал» был до того переполнен, что нам как новоприбывшим пришлось стоять в узком коридоре.

Здесь нас разделили. Меня и еще двоих затолкали в какой-то совершенно темный закуток под крутой лестницей. Выпрямиться в полный рост здесь было невозможно. Прежде немецкие солдаты держали тут свиней, может быть – тайком. На унавоженном полу валялось несколько чурбаков и не было ни одной доски. Совершенно ничего не видя и согнувшись в три погибели, мы установили чурбаки так, чтобы создать иллюзию, будто ложиться прямо на вонючее дерьмо не придется. Сначала мы сидели на этих неудобных штуковинах, но вскоре, смертельно устав, улеглись и, поскольку все стало безразлично, смогли внутренне расслабиться. Навоз уже подсох, правда, не настолько, чтобы не пачкалась одежда или пальцы, если коснуться пола рукой. И тут я начал грезить. Это были не сны, а именно грезы наяву. Думал о родителях и надеялся, что они все еще в

имени за пределами Кенигсберга – оно казалось раем по сравнению с концлагерем. Вспоминалось совместное музицирование с Уте. Мечталось снова оказаться в какой-нибудь квартире из прошлой жизни. В чистой постели. Или, например, море, солнце, свежий воздух. Я начал наслаждаться этими грезами с такою полнотою, словно они были реальностью. Мои соседи оказались приветливыми людьми в возрасте. Меня, самого молодого, они жалели и старались утешить. Бесценные спутники на короткий срок.

На следующий день, около полудня, нас выводят из этой вонючей дыры, где, ко всему прочему, пришлось справить нужду. Снова раздача пищи, на сей раз в конце подвального коридора. Водянистая похлебка и черствый хлеб, местами зеленый от плесени. Снова приходится отказаться от похлебки, поскольку посуды ни у кого нету. Я напряженно думаю, где бы ее раздобыть, ведь иначе – голодная смерть. Сосредоточенность на этой мысли (кто-то, возможно, сказал бы: «молитва») приносит успех. Когда нас выводят справить нужду к казарменной ограде, я в первый момент чувствую себя ослепленным, словно от света подвальных ламп после кромешной тьмы. Инстинктивно зажмуриваюсь, начинаю открывать глаза постепенно, и тут меня осеняет: лампы-то ведь защищены от сырости колпаком. На обратном пути, пользуясь моментом, когда часовой не глядит в мою сторону, быстро откручиваю колпак и прячу его. Теперь наконец имеется посуда, которую, хочется надеяться, русские не отвергнут и не посчитают за кражу или порчу имущества. На следующей раздаче пищи они сразу догадываются о происхождении моей миски, но по их улыбкам видно, что они не сердятся; более того, за находчивость меня вознаграждают полным половником, предварительно несколько раз помешав им в котле, так что теперь в моей порции,

состоящей обычно из одной только беловатой жижи, плавают несколько кусочков картофеля и даже мяса. Я прикидываю, что в миску вмещается около литра. Мы делим порцию и с наслаждением едим. Другие, естественно, пользуются моей идеей и снимают оставшиеся колпаки.

Похлебка настолько укрепляет мои силы, что при случае я начинаю громко жаловаться и бранить русских: условия, в которых нас содержат, сравнимы с пыткой и совершенно невыносимы. И что-то, действительно, меняется. Когда в подвал приводят новую партию, нас присоединяют к ней. У одной из дверей длинного и разветвленного подвала часовой останавливается, и в пустое помещение заводят около восьмидесяти человек. Мы стоим вплотную друг к другу; оставшегося места хватает только для того, чтобы захлопнуть дверь, которая открывается вовнутрь. Здесь только два окна, и они снабжены противоосколочной защитой, а это означает, что расположенные под потолком окна замурованы и имеют лишь две вентиляционные щели, чего явно недостаточно для проветривания помещения, набитого таким количеством людей. Сначала все стоят неподвижно, беспомощно озираясь по сторонам, затем некоторые начинают усаживаться на пол и тем самым отнимают место у других. То тут, то там вспыхивает потасовка, слышатся ругань и перебранка. Каждый расталкивает и отпихивает других, отвоевывая себе клочок пространства на полу. Но места так мало, что хоть ложись друг на друга. Мы бы, наверное, все передрались, не одолей нас усталость и парализующая покорность судьбе. Так, должно быть, чувствует себя скот, набитый в вагон перед отправкой на убой. По сравнению с этим подвалом свиной закут, несмотря на грязь, мог показаться каютой второго класса. Скверное пробуждение ожидает